

Юлий Буркин

Бабочка и василиск



*Часть сборника
Королева белых слоников
(сборник)*



Юлий Сергеевич Буркин

Бабочка и василиск

Авторский вариант

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153941

Бабочка и василиск: Эксмо-Пресс; 2002

ISBN 5-04-009840-5

Аннотация

«Что касается невинной жертвы, то вся история эта закончилась так.

В самом конце ночи, почти под утро, зека по кличке Гриб проснулся от желания помочиться и сейчас жадно досмаливал подобранный возле параши отсыревший бычок. Он знал, что это – западло, но поделаться с собой ничего не мог: курить хотелось невыносимо...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пролог | 4 |
| I. | 8 |
| II. | 13 |
| III. | 19 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 24 |

Юлий Буркин

Бабочка и василиск

«Всякое искусство совершенно бесполезно».
Оскар Уальд

«Если нельзя, но очень хочется, то можно».
Народная мудрость

Пролог

Что касается невинной жертвы, то вся история эта закончилась так.

В самом конце ночи, почти под утро, зека по кличке Гриб проснулся от желания помочиться и сейчас жадно досмаливал подобранный возле параши отсыревший бычок. Он знал, что это – запаadlo, но поделаться с собой ничего не мог: курить хотелось невыносимо.

Гриб ходил в мужиках, ниже комитет решил его не опускать: свой хороший врач буграм – вещь вовсе не лишняя (этот-то, как-никак, с мировым именем), а пользоваться медицинскими услугами петуха им не позволила бы воровская честь. Вот и ходил Гриб в мужиках, хотя и видно было в нем за версту интеллигента, и другого бы, не столь ценного, за одну только лексику, за одни только «позвольте» и «отнюдь»,

втоптали бы в самую зловонную зоновскую грязь.

Но все равно хватало ему и побоев, и унижений. Как тут без этого? Особенно одно обстоятельство угнетало его: еще в СИЗО трое рецидивистов отбили ему почки, и теперь, случалось, он во сне делал под себя (если не успевал проснуться, вскочить и добежать до туалета, как сегодня). И, когда случалась с ним такая оказия, наутро он подвергался позорнейшей процедуре: его освобождали от работ и не позволяли вставать в строй на завтрак и обед, пока он не простирает тщательно белье и матрац и не просушит их, летом – на дворе, зимой в сушилке. А все это время каждый проходящий считал своим долгом плюнуть в него, дать зуботычину или обругать: «У, вонючка очкастая!...», «Зассанец!»...

И не раз уже гнал он от себя мысль о самоубийстве, а порою и не гнал, порою, напротив, упивался ею. Вот и сейчас, урвав ворованную затыжку, думал он о побеге в мир бездонной пустоты и находил в этом желанное успокоение.

Хрустнул под чьими-то подошвами разбитый кафель, и Гриб испуганно кинул охнарик в парашу. Но напрасно, он услышал, как зашумел кран, как вода потекла в умывальник, как вошедший звучно всосал струю, а затем из уборной вышел.

Но бычок был уже безнадежно погублен, и Гриб с досады хотел было отправиться досыпать, как вдруг через открытую форточку, сквозь ржавую решетку, в туалет влетела цветисто-бархатная бабочка «Павлиний глаз» («Vanessa io») и се-

ла прямо на рукав его грязно-черной робы. Странное чувство вызвала гостья в душе заключенного. Такое испытывал он в юности, когда очень красивая подружка старшей сестры – Лиля – строила ему глазки и тихонько говорила ему непристойные комплименты. Ему было тогда и приятно, и ясно, что на самом деле над ним просто потешаются, а более всего страшно, что легкая ирония сейчас перейдет в откровенную издевку. Смешанное чувство радости, страха и НЕУМЕСТНОСТИ. Нельзя было в его нынешнем пыльном, кирзовом, бушлатно-туалетном мире возникать этому, пусть даже и такому маленькому, летающему стеклышку калейдоскопического счастья.

– Эй, слышишь, – вполголоса обратился он к бабочке, – слышишь, нельзя тебе здесь...

Бабочка посмотрела на него строго и доверчиво, чихнула и ответила:

– А я и не собираюсь здесь долго задерживаться.

Только не понимал Гриб ни бабочкиного языка, ни бабочкиного чиха, ни бабочкиной мимики; а потому не понял он и того, что сказала она далее:

– Меня зовут Майя. Меня послали, чтобы ты посмотрел на меня и понял: скоро все это кончится, скоро ты будешь на воле.

И Гриб, глядя на персидские узоры ее крылышек, хоть и не услышал ничего, действительно понял: скоро все это кончится, скоро он будет на воле.

– Спасибо, – сказал он вполголоса, и бабочка, услышав его, выпорхнула через решетку форточки в ночь – в мокрое грозное небо.

I.

– Бумагу! Перо! Чернила! – скомандовал василиск, откинувшись на расшитые бисером китайские подушечки, и два его верных сиреневых тролля-прислужника – гномик Гомик и карлик Марксик, пробуксовав ножками на месте две-три секунды, кинулись вглубь пещеры.

Голодная гюрза обвила шею повелителя и чистила ему шею раздвоенным языком, выскребая из щелей меж ними кровавые волокна ужина.

– Полно, – молвил он, чтобы счастливая змейка, скользя вниз по его гибкому алмазно-чешуйчатому торсу, обвинилась сладострастно вкруг змееподобного же фаллоса, жадно припав к нему устами.

В шахтах глазниц Хозяина родились и тут же умерли две злые зарницы, и изумрудные стены, откликнувшись, послушно принялись источать неоновую зелень.

– Пиши, – кивнул василиск примчавшемуся уже сиреневому Марксику, пред коим гномик Гомик в тот же миг пал на четвереньки, имитируя с успехом письменный стол. Марксик поспешно распластал по его ребрам белый лист бумаги, водрузил на поясницу оправленный в платину человеческий череп-пепельницу, обмакнул в нее перо фламинго и, согбенный подобострастно, замер в ожидании.

Так стоял он, боясь шелохнуться, пока василиск, как все-

гда перед очередным письмом, бесцельно блуждал в грязных лабиринтах памяти. Богиня, Гриб и предательство, белизна палаты и целительный скальпель врага, ласковый детеныш и боль, адская боль, когда трескается, словно кора, одеревенелая кожа; скользкие стены колодца, бой с предшественником, вкус его плоти и коронование... И жажда, так и не утоленная жажда.

Наконец, он вышел из оцепенения, вздохнул со стоном, низким и глухим, и вынул из глаз маленькие сталактиты слез. Нужно было диктовать так, чтобы ТАМ не почувствовали, как далек он от внешнего мира. Что-то очень простое.

– Пиши, – повторил он. И карлик принялся поспешно, стараясь не упустить ни звука, фиксировать неясные ему сочетания слов.

«Здравствуй, Виталья, милый мой сынок. Прости, что пишу так редко, но это зависит не от меня: почти у нас забирают только один раз в месяц. Ничего, потом все сразу тебе расскажу, так будет даже интереснее. Ты пишешь, что учишься хорошо, без троек. Молодец. У меня тоже все в порядке. Ты пишешь, что мама читает мои письма, спрашиваешь, почему я пишу только тебе. Я ведь уже объяснял. Хотя, конечно, тебе трудно это понять. Мы поссорились с ней перед моим отъездом. Но когда я приеду, мы обязательно помиримся. Пока я не знаю, когда это будет. Очень много работы. Тут очень холодно, но очень интересно. Спрашиваешь, видел ли я белых медведей. Да, и

вижу часто. И моржей, и пингвинов. Может быть даже я привезу тебе маленького пингвиненка. Только не спрашивай у мамы, почему мы поссорились, не приставай, я сам тебе когда-нибудь все...»

Он диктовал, диктовал, а параллельно в голове его мелькали картинки из далекого и недавнего прошлого. Он то чувствовал себя собой, то словно бы видел себя со стороны.

* * *

... – Безднадежен, – Грибов отложил в сторону историю болезни. – Просто безднадежен.

Мне, стоящему в коридоре и заглядывающему в щелку, стало не по себе.

– А если оперировать? – спросил незнакомый мне врач.

– Один шанс из тысячи. Даже не знаю, взялся бы я или нет. Разве что в качестве эксперимента. А без этого – максимум полгода. Жаль.

Откуда ж он, Грибов, мог знать, что я, во-первых, как раз сейчас забрел к нему в кардиоцентр, а, во-вторых, в курсе, что речь идет именно обо мне. Сестра (очень красивая, кстати) споткнулась возле двери кабинета, я помог собрать рассыпавшиеся листы и увидел, что это – моя история болезни.

Безднадежен. Что из этого следует? «Максимум полгода...» Жаль ему, видите ли. Это все, что он мог сказать по поводу моей близкой кончины. Экспериментатор!..

«Жаль...» А мне-то как жаль!

«Что можно успеть за полгода? – продолжал я раздумывать, двигаясь в сторону своей постылой конторы. – Прежде всего, наконец-то пошлю в жопу шефа. Шеф!.. Смех да и только. Индюк моченый, а не шеф. Что еще? Еще уйду от Ирины. А стоит ли? Полгода не срок... Стоит. Хоть последние полгода проживу без лжи. Почему же не мог раньше? Раньше была ответственность. За нее и за Витальку. А ныне судьба распорядилась так, что всякая ответственность автоматически теряет смысл».

И вдруг он представил себя мертвым. Он увидел свое не слишком симпатичное тело лежащим на столе морга. Совсем голое. Глаза полуоткрыты. Рот подвязан веревочкой. Кожа землисто-матовая. Всюду отечности и вздутия. Тело это и при жизни не блистало красотой, а теперь... Ёлки! Ведь все мы знаем, что умрем. Обычно осознание реальности смерти случается только в самой ранней юности, как раз тогда, когда жизнь полна запахов и прелести. Наверное, так природа поддерживает баланс.

Заколело сердце. Он сел на подвернувшуюся скамеечку. И моментально покрылся холодной испариной.

Нет, наоборот. Буду тихо ходить на работу, чтобы отвлечь себя от приближения, а когда слягу, Ирина будет ухаживать за мной. Кто-то ведь должен подать стакан воды... Какая пошлость! – «Стакан воды». Ну и пусть – пошлость. Кто-то все равно должен его подать.

Ему казалось что решение он принял твердо. И все-таки, когда шеф, в который уже раз принялся в тот день вправлять ему, как мальчику, мозги: «Учтите, если хотя бы еще один раз вы отлучитесь с работы без моего личного разрешения, будем беседовать с вами серьезно...» И все-таки, когда он услышал это, он наплевал на все свои твердые решения, встал, красный от злости, из-за стола и сказал заветное: «Пошел-ка ты в жопу, индюк!» И удалился, хлопнув дверью.

И таким легким стал этот день, что и ночью он легко сказал жене: «Я узнал, что проживу не более полугода. Врач сказал. Не сердись, но я хочу пожить немного один. Обдумать, как встретить это. Андрей, когда уезжал, отдал мне ключи от своей комнаты. Он вернется еще только через год, когда все уже будет кончено. Я проживу пока у него в общежитии».

И она поняла его. Она плакала, уткнувшись носом в подушку, но поняла.

II.

Издавна известно людям, что аспид в хитрой голове своей хранит драгоценный карбункул. Знают они и сколь велика ценность сего самоцвета, как с ювелирной, так и с фармацевтической точек зрения. Знают они и то, что карбункул у аспиды можно взять лишь добром, выклянчить, если же применишь силу, поймаешь, убьешь, карбункул вмиг рассосется. Такова природа аспиды и его карбункула.

Только одного не знают люди: зачем нужен карбункул самому аспиду. А это-то как раз самое главное и есть. Карбункул – хранитель, кристаллический аккумулятор энергии и ВРЕМЕНИ. Когда аспиды хотят убить, решетка магического кристалла рассыпается, «рассасывается», высвобождая накопленное, и сознание владельца карбункула перемещается в любую точку пространства и времени, внедряясь в избранное тело, деля его отныне с родным этому телу сознанием. Таким образом камень спасает аспиды от гибели. Потому-то он и дорожит им столь рьяно.

Прервав диктовку письма, не закончив даже очередного предложения, утомленный василиск потянулся и, щелкнув перстами, удалил прочь своих внезапно опостылевших ему лиловых троллей-прислужников. (Кстати, отчего они лиловые? Точнее – сиреневые? Оттого, что карлик Марксик, само собой, красный, а гномик Гомик, естественно, голубой. Бу-

дучи преданными друзьями, ради единообразия они избрали срединный колер.)

– Раав, – опустил василиск щели зрачков своих к юркой гюрзе, – Раав, в мир желаю.

Змейка скользнула вниз по ребристому хвосту Хозяина и исчезла, словно просочившись сквозь трещины в малахитовом полу. И призванные ею два древних аспида Тиранн и Захария уже через несколько секунд предстали пред Правителем. Он простер к ним когтистую десницу, и они послушно изрыгнули в нее два своих карбункула. Именно два камня дают возможность не только вселиться в любое живое существо любой эпохи, но и вернуться затем назад в собственное тело.

Тиранн и Захария молча поползли умирать вглубь лабиринта, ибо жизни их отныне не имели смысла, а василиск разверз пасть и поглотил сокровенные кристаллы.

Частые выходы в мир стали для него столь же привычными, как когда-то – ежевечерняя телепрограмма. Был он уже и Христофором Колумбом в час, когда тот впервые ступил на благословенную землю Америки, был и Владимиром Ульяновым (Лениным) в дни его торжества семнадцатого года, был и Вольфгангом Амадеем Моцартом на премьере «Волшебной флейты» и графом Калиостро... и Авиценной, и Чан Кайши, и индейцем Гаманху, и Гагариным, и Адольфом Гитлером в дни Триумфа... Он никогда не задумывался, кому и во что обходится это его развлечение. Он просто пользуется

тем, что принадлежит ему по праву.

Кровь, власть, плотские наслаждения уже наскучили ему. Все чаще тянуло его к тонким ранимым натурам. Удовольствие он находил уже не в торжестве, не в радости, а скорее в резких контрастных переходах от одного состояния души к другому.

Волевым толчком он вывел себя в астрал и, в то время как тело его погрузилось в глубокую кому, вошел в своего избранника и заскользил по временной развертке его сознания, успевая лишь умом отмечать эмоциональные всплески (как реальные они воспринимаются только в «реальном времени», то есть при совпадении скоростей движения по времени обоих сознаний).

Общий эмоциональный фон его нынешнего избранника состоял в основном из скепсиса и раздраженности. Но иногда яркие вспышки – то радости, смешанной с удивлением, то черной апатии, то наркотической эйфории – пронзали его. Вот его захлестнули любовь, страх и боль, но эти чувства быстро уступили место тихой нежности и блаженному ощущению покоя. И такой фон устойчиво держался несколько минут подряд (в реальном времени – около пяти лет!). Потом – несколько взлетов и провалов, и вновь – ровная нежность.

«Ладно, стоп», – приказал себе василиск, и сейчас же краски, звуки, запахи вечернего города обрушились на него. Из лимузина, который остановился возле арки, он вышел

чуть позже жены и сына – задержался, рассчитываясь с водителем, прошел мимо освещенной фонарями клумбы, через всю желтизну которой красными цветами было выведено слово «РЕАСЕ», мимо девушки, направившей на него объектив телекамеры (он привык, что изредка его вдруг узнают, вдруг вспоминают, просят дать интервью, объясняются в любви, требуют переспать... и вдруг снова напрочь забывают).

«Кажется, я счастлив, – подумал он. – Наконец-то меня оставили в покое; я могу печь хлеб». Он отчетливо увидел взором памяти, как его руки вынимают из печи свежую булку, как ломают ее, как подают ароматный горячий ломоть маленькому Шону и даже остановился, чтобы движение не сбивало удовольствия, которое он получал, представляя себе все это. Все то, что происходило с ним теперь каждое утро.

«Кажется, я счастлив. «Нет друзей, зато нет и врагов. Совершенно свободен...» Конец войне с влюбленными в меня. Конец страху перед собственной ограниченностью. Конец ужасу погружения в трясины... Оказалось, это вовсе не трясины. Оказалось, это и есть ЖИЗНЬ... «Жизнь – это то, что с тобой происходит, пока ты строишь совсем другие планы...» – даже в мыслях он не мог отделаться от строчек из своих старых или будущих песен. «Деньги? Музыка? Любовь? Слава? Всё – блеф. Есть я, есть Шон, есть свежий хлеб...» Эти мысли, смотанные в клубок, в одно мгновение промелькнули в голове, и он, потянувшись и с наслаждением вдохнув

глоток грязного воздуха города, двинулся дальше.

«И все-таки я – шут. Шут – принц мира. Сумел и тут наврать себе. Мне вовсе не безразлично, что скажут о «Двойной фантазии» в Англии. Я никогда не уйду из той вселенной. Но я, кажется, научился не быть ее рабом. А значит, жизнь только начинается».

Он был уже в нескольких шагах от дверей «Дакоты», когда сбоку из полутьмы в свет окон вышел коренастый невысокий человек и окликнул его: «Мистер Леннон!»

Он обернулся. Фигура была знакомой. Где-то он уже видел этого человека. Совсем недавно... А тот присел на одно колено и что-то выставил перед собой, держа на вытянутых руках. Пистолет?

Джон не успел даже испугаться. Он успел только подумать, что паршиво это – БЕЗ НЕЁ, и, в то же время, слава богу, что ее нет рядом. А вообще-то, этого не может быть... И – грохот, рвущий перепонки.

Пять выстрелов в упор. Многотонной тяжестью рухнуло небо. Почему-то перед глазами – не детство, не толпы зрителей, не Йоко и даже не Шон, а акварельные картинки недавнего турне – Япония, Гонконг, Сингапур... И адская боль.

На минуту он потерял сознание, и на это короткое время пробитым телом полновластно завладел василиск. И он заставил это тело ползти к дверям.

Но вот сознание вернулось к Джону, и василиск моментально отступил назад, в тень. Джон полз, а в висках его

стучало: «Печь хлеб. Печь хлеб». Испуганный портье в расшитой золотом ливрее выбежал навстречу. Джон понял, что убит и почувствовал обиду: почему предательская память не показывает ему ничего из того, что он любит?!

– В меня стреляли, – прохрипел он и впал в беспамятство. Но инородное, недавно вошедшее в него сознание продолжало фиксировать реальность. Правда, глаза тела были закрыты, но василиск слышал женский плач, слышал приближающуюся сирену и визг тормозов, чувствовал на своем лице торопливые поцелуи горячих мокрых губ, слышал усиливающийся шум толпы. Он почувствовал, как его подняли и понесли. Он услышал чей-то крик: «Вы хоть понимаете, что вы натворили?!» И спокойный ответ: «Да. Я убил Джона Леннона».

Кто-то пальцем приподнял телу веко, и василиск увидел небритое лицо врача, затем веко захлопнулось. Он блокировал болевые ощущения, так как электрические удары реанимационного прибора были невыносимы.

Минут через пятнадцать он услышал: «Всё. Воскрешать я не умею». И почувствовал запах табачного дыма.

III.

Несколько мгновений два сгустка биоэнергии вместе неслись вверх по широкому темному тоннелю к ослепительному вечному свету в конце. Но вот у одного из них достало силы рвануться в сторону, нематериальная зеркальная пленка лопнула со звонким чмокающим звуком, и василиск, конвульсивно вздрогнув всем своим затекшим телом, издал оглушительный стон. Он открыл глаза и чуть приподнял голову. Тут же тройка гадюк-ехидн, ожидавших своего часа, кинулась к Хозяину и принялась разминать ему туловище и члены.

Василиск презирал гадюк-ехидн за свирепый и трусливый нрав, за мерзкий обычай беременеть через уста, а главное – за похотливость и стремление к совокуплению с самым гнусным из живых существ – зловредной морской муреной. Но никто другой не умеет делать массаж так, как делают его гадюки-ехидны, ведь они одни, будучи змеями, имеют в то же время гибкие и сильные конечности.

Придя в себя, василиск повторил свой недавний приказ: «Бумагу! Перо! Чернила!»

Письмо он закончил так: *«Хорошо учишься и слушаешься маму. Любящий тебя папа. Северный полюс. Станция „Мирная“.* 21.15».

Да, это, конечно, была удачная идея – внушить сыну

мысль, что его отец – полярник. Это многое объясняло. А автором идеи был не он. Автором была Ирина. Видно, вспомнив о его странном, совсем не современном увлечении покорителями Арктики, она сразу, как только он ушел жить в общежитие, объяснила Витале, что «папа уехал в экспедицию». Точнее, не сразу, а почти сразу – когда узнала, что он там, в общежитии, не один.

Когда ворвалась в его дни и ночи женщина-стихия, женщина-дождь, женщина-радуга, женщина-гибель. Женщина по имени Майя.

... В первый раз она появилась у меня по поручению Грибова. Сперва, как она позже рассказывала, она пришла туда, где я жил еще недавно, и Ирина объяснила, как меня теперь можно найти. И она нашла меня и принялась уговаривать лечь на операцию. Она сказала, что Грибов все хорошенько обдумал, досконально изучил мою историю болезни и уверен в успехе. И ждет только моего согласия. Она не знала, что именно благодаря ей я в курсе действительного положения дел. Ведь она – та самая красивая сестричка, которая уронила мою карточку возле двери кабинета. Она, конечно, не запомнила меня. А я-то запомнил. Но сейчас обнаружил, что запомнил неправильно. Она не просто «красивая сестричка», она – богиня. Я слушал и слушал ее, и, хотя, не желая быть подопытным кроликом, твердо решил на уговоры ее не поддаваться, а спокойно дожидаться своей участи, больше

всего в тот момент я боялся, что она прекратит эти уговоры. И уйдет.

– Отчего же он сам не явился? – Я действительно был слегка уязвлен: Колька Грибов не посчитал нужным прийти лично.

– Что вы, – изумилась Майя. – Николай Степанович (ай да Гриб!) так занят! Он в день спасает по несколько жизней. Если он будет ходить за каждым больным... Он просто права такого не имеет.

– Ну, я-то, положим, не «каждый».

– Потому-то он и послал меня, за другим бы вообще бегать не стали. Другие сами приходят и по году в очереди стоят. Вам очень-очень по-вез-ло...

– Чем дальше я разговариваю с вами, тем сильнее убеждаюсь, что мне и вправду повезло. Что я разговариваю с вами. Что вы здесь.

... И она приходила еще дважды. Теперь уже ЯКОБЫ по поручению. А потом – пришла и осталась. И помчались, звеня, цветные стеклянные ночи, цветные стеклянные утра, цветные стеклянные полдни и вечера. Стеклянные, потому что только витражные стекла вызывают то же ощущение ясности. И я уже простил судьбе, что жить мне осталось несколько месяцев, если все они будут такими.

... Больше всего он любил наблюдать за ней в момент пробуждения. Спящая, она была милым безмятежным ребенком

с головой, укутанной в светлую пену волос. Он жарил яичницу, заваривал чай и намазывал на хлеб масло. Он ставил перед диваном табурет и превращал его в столик. Он опускался перед ней на колени и осторожно трогал ее волосы, иногда окунаясь в них носом, вдыхая запахи детского тела и парикмахерской. И вот ресницы вздрагивали, и дитя превращалось в прелестную юную женщину, благодарную и бескорыстную.

Она любила одевать его рубашки, и тогда ее грудь казалась маленькой, а ноги – такими длинными и такими пронзительно стройными, что чай успевал окончательно остыть, а яичница напрочь засохнуть.

Именно сознание приближающейся тьмы и делало бессмысленными какие-либо угрызения совести, оставляя ему чистый свет. Говорить они могли о чем угодно, только не о его болезни. Но мысль о ней всегда жила рядом.

Ему особенно нравилось, когда она снова и снова делилась своими ощущениями и мыслями их первого дня, первого вечера и первой ночи. Ему было интересно узнать каким неприятным, даже надменным и все-таки притягательным нашла она его. Он не спрашивал ее ни о чем, довольствуясь тем, что она решала рассказать сама. Зато она расспрашивала его много и подробно. И даже не пыталась скрыть, что интерес этот в большой степени – профессиональный. Интерес врача ко всему, что касается больного. Он прощал ей это хотя бы потому, что несколько раз именно ей приходилось

возиться с ним во время приступов. Хотя его и подмывало поинтересоваться, не заносит ли она информацию о нем в историю болезни. Но он не решался этого сделать, страшась получить утвердительный ответ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.